

ВЛАДИМИР СОРОКИН

*Тридцатая
любовь
Марины*

Владимир Сорокин
Тридцатая
любовь Марины

роман



Издательство аст

Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С65

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Сорокин, Владимир.

С65 Тридцатая любовь Марины : роман / Владимир Сорокин. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2017. — 448 с.

ISBN 978-5-17-091021-2

Красавица Марина преподает музыку, спит с девушками, дружит с диссидентами, читает запрещенные книги и ненавидит Советский Союз. С каждой новой возлюбленной она все острее чувствует свое одиночество и отсутствие смысла в жизни. Только любовь к секретарю парткома, внешне двойнику великого антисоветского писателя, наконец приводит ее к гармонии — Марина растворяется в потоке советских штампов, теряя свою идентичность. Роман Владимира Сорокина “Тридцатая любовь Марины”, написанный в 1982–1984 гг., — точная и смешная зарисовка из жизни андроповской Москвы, ее типов, нравов и привычек, но не только. В самой Марине виртуозно обобщен позднесоветский человек, в сюжете доведен до гротеска выбор, стоявший перед ним ежедневно. В свойственной ему иронической манере, переводя этическое в плоскость эстетического, Сорокин помогает понять, как устроен механизм отказа от собственного я.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-091021-2

© Владимир Сорокин, 1995, 2017
© А. Бондаренко, оформление, 2017
© ООО “Издательство АСТ”, 2017
Издательство CORPUS ®

Ирине

...ибо Любовь, мой друг, как и Дух Святой,
живет и дышит там, где хочет.

Мишель Монтень, *из частной беседы*

Царапая старую побелку длинным перламутровым ногтем, Маринин палец в третий раз утопил черную кнопку звонка.

За высокой, роскошно обитой дверью послышались наконец торопливые шаркающие шаги.

Марина вздохнула, сдвинув рукав плаща, посмотрела на часы. Золотые стрелки сходились на двенадцати.

В двери продолжительно и глухо прохрустели замки, она приоткрылась ровно на столько, чтобы пропустить Марину:

— Прости, котеночек. Прощу.

Марина вошла, дверь с легким грохотом захлопнулась, открыв массивную фигуру Валентина. Виновато-снисходительно улыбаясь, он повернул серебристую головку замка и своими огромными белыми руками притянул к себе Марину:

— Mille pardons, ma chérie...

Судя по тому, как долго он не открывал, и по чуть слышному запаху кала, хранившегося в складках его темно-вишневого бархатного халата, Маринин звонок застал его в уборной.

Они поцеловались.

— С облегчением вас, — усмехнулась Марина, отстраняясь от его широкого породистого лица и осторожно проводя ногтем по шрамику на тщательно выбритом подбородке.

— Ты просто незаконнорожденная дочь Пинкертона, — шире улыбнулся он, бережно и властно забирая ее лицо в мягкие теплые ладони. — Как добралась? Как погода? Как дышится?

Улыбаясь и разглядывая его, Марина молчала.

Добралась она быстро — на по-полуденному неторопливом, пропахшем бензином и шофером такси, погода была мартовская, а дышалось в этой большой пыльной квартире всегда тяжело.

— Ты смотришь на меня глазами начинающего портретиста, — проговорил Валентин, нежно сдавливая громадными ладонями ее щеки. — Котик, тебе поздно менять профессию. Твой долг — выявлять таланты и повышать общий музыкальный уровень трудящихся прославленной фабрики, а не изучать черты распада физиономии стареющего дворянского отпрыска.

Он приблизился, заслоня лицом ложноампирный интерьер прихожей, и снова поцеловал ее.

У него были чувственные мягкие губы, превра-

щающиеся в сочетании с необычайно умелыми руками и феноменальным пенисом в убийственную триаду, базирующуюся на белом нестареющем теле, массивном и спокойном, как глыба каррарского мрамора.

— Интересно, ты бываешь когда-нибудь грустным? — спросила Марина, кладя сумку на телефонный столик и расстегивая плащ.

— Только когда Менухин предлагает мне совместное турне.

— Что, так не любишь?

— Наоборот. Жалею, что врожденный эгоцентризм не позволяет мне работать в ансамбле.

Едва Марина справилась с пуговицами и поясом, как властные руки легко сняли с нее плащ.

— А ты же выступал с Растропом.

— Не выступал, а репетировал. Работал.

— А мне говорили — выступал...

Он сочно рассмеялся, вешая плащ на массивную алтароподобную вешалку:

— Бред филармонийской шушеры. Если б я согласился тогда выступить, сейчас бы у меня было несколько другое выражение лица.

— Какое же? — усмехнулась Марина, глядя в позеленевшее от старости зеркало.

— Было бы меньше продольных морщин и больше поперечных. Победив свой эгоцентризм, я в меньшей степени походил бы на изможденного страхом сенатора времен Калигулы. В моем лице преоблада-

ли бы черты сократовского спокойствия и платоновской мудрости.

Сбросив сапожки, Марина поправляла перед зеркалом рассыпавшиеся по плечам волосы:

— Господи, сколько лишних слов...

Валентин обнял ее сзади, осторожно накрыв красиво прорисовывающиеся под свитером груди совковыми лопатами своих ладоней:

— Ну, понятно, понятно. Silentium. Не ты ли, апсара, нашептала этот перл дряхлеющему Тютчеву?

— Что такое? — улыбаясь, поморщилась Марина.

— Мысль изреченная есмь ложь.

— Может быть, — вздохнула она, наложив свои, кажущиеся крохотными, ладони на его. — Слушай, какой у тебя рост?

— А что? — перевел он свой взгляд в зеркало.

Он был выше ее на две головы.

— Просто.

— Рубль девяносто три, прелесть моя, — Валентин поцеловал ее в шею, и она увидела его лысеющую голову.

Повернувшись к нему, Марина протянула руки.

Они поцеловались.

Валентин привлек ее к себе, обнял и приподнял, как пушинку:

— Покормить тебя, котенок?

— После... — пробормотала она, чувствуя опьяняющую мощь его рук.

Он подхватил ее и понес через длинный коридор в спальню.

Обняв его за шею, Марина смотрела вверх.

Над головой проплыл, чуть не задев, чудовищный гибрид потемневшей бронзы и хрусталя, потянулось белое потолочное пространство, потом затрещали бамбуковые занавески, скрывающие полумрак.

Валентин бережно опустил Марину на разобранную двуспальную кровать.

— Котеночек...

Глухие зеленые шторы были приспущены, бледный мартовский свет проникал в спальню сквозь узкую щель.

Лежа на спине и расстегивая молнию на брюках, Марина разглядывала другого медно-хрустального монстра, грозно нависавшего над кроватью. Он был меньше, но внушительней первого.

Валентин присел рядом, помогая ей снять брюки:

— Адриатическая ящерка. Не ты ль окаменела тогда под шизоидным взглядом Горгоны?

Марина молча улыбнулась. В спальней она не умела шутить.

Громадные руки в мгновение содрали с нее свитер и колготки с трусиками.

Валентин привстал, халат на нем разошелся, закрыв полкомнаты, и бесшумно упал вниз на толстый персидский ковер.

Кровать мучительно скрипнула, белые руки оплели смуглое тело Марины.

У Валентина была широкая безволосая грудь с большими, почти женскими сосками, с двухкопеечной родинкой возле еле различимой левой ключицы.

— Котеночек...

Губы его, хищно раздвинув волосы, медленно вобрали в себя Маринину мочку, мощная рука ваятеля прошла по грудям, животу и накрыла пах.

Ее колени дрогнули и разошлись, пропуская эту большую длань, источающую могущество и негу.

Через минуту Валентин уже лежал навзничь, а Марина, стоя на четвереньках, медленно садилась на его член, твердый, длинный и толстый, как сувенирная эстонская свеча за три девяности.

— Венера Покачивающаяся... прелесть... это ты святого Антония искушала...

Он шутил, сияясь улыбнуться, но его породистое лицо с этого момента начинало катастрофически терять свою породистость.

Марина жадно вглядывалась в него.

Притененное сумраком спальни, оно расплывалось, круглело, расползаясь на свежей арабской простыне.

Когда Марина опустилась и лобковые кости их встретились, на лицо Валентина сошло выражение полной беспомощности, чувственные губы стали просто пухлыми, глаза округлились, выбри-

тые до синевы щеки заалели, и на Марину доверчиво взглянул толстый мальчик, тот самый, что висит в деревянной треснутой рамке в гостиной над громадным концертным роялем.

Подождав мгновенье, Марина начала двигаться, уперевшись руками в свои смуглые бедра.

Валентин молча лежал, блуждая по ней невменяемым взором, руки его, вытянутые вдоль тела, бессильно шевелились.

Прямо над кроватью, на зеленовато-золотистом фоне старинных обоев, хранивших в своих буколических узорах смутный эротический подтекст, висел в глубокой серой раме этюд натурщицы кисти позднего Фалька.

Безликая женщина, искусно вылепленная сероголубым фоном, сидела на чем-то бледно-коричневом и мягком, поправляя беспальными руками густые волосы.

Ритмично двигаясь, Марина переводила взгляд с плавной фигуры на распластавшееся тело Валентина, в сотый раз убеждаясь в удивительном сходстве линий.

Оба они оказались беспомощны, женщина — перед кистью мастера, мужчина — перед смуглым подвижным телом, которое так легко и изящно показывается над ним в полумраке спальни.

Марина порывисто обняла его, припав губами к коричневому соску и стала двигаться резко.

Валентин застонал, обнял ее голову.

— Прелесть моя... сладость... девочка...

Его лицо совсем округлилось, глаза полуприкрылись, он тяжело дышал.

Марине нравилось целовать и покусывать его соски, чувствуя, как содрогается под ней беспомощная розовая глыба.

Мягкие округлые груди Марины касались его живота, она ощущала, насколько они прохладнее Валентинова тела.

Его руки вдруг ожили, сомкнулись за ее спиной.

Он застонал, делая неловкую попытку помочь ей в движении, но никакая сила, казалось, не в состоянии была оторвать эту махину от кровати.

Поняв его желание, Марина стала двигаться быстрее.

Часы в гостиной звучно пробили половину первого.

В тяжелом дыхании Валентина отчетливей проступила дрожь, он стонал, бормоча что-то, прижимая к себе Марину.

В его геркулесовых объятьях ей было труднее двигаться, груди плющились, губы покрывали гладкую кожу порывистыми поцелуями, каштановые, завивающиеся в кольца волосы подрагивали на смуглых плечах.

Он сжал ее сильнее.

Ей стало тяжело дышать.

— Милый... не раздави меня... — прошептала она

в круглый, поросший еле заметными волосками сосок.

Он разжал руки, но на простыне им больше не лежалось, — они стали конвульсивно трогать два сопряженных тела, гладить волосы Марины, касаться ее колен.

Дыхание его стало беспорядочным, хриплым, он подрагивал всем телом от каждого движения Марины.

Вскоре дрожь полностью овладела им. Марина пристально следила за его лицом.

Вдруг оно стало белым, слившись с простыней. Марина стремительно приподнялась, разъединяясь, отчего ее влагалище сочно чмокнуло. Соскочив с Валентина и наклонившись, она сжала рукой его огромный член, ловя губами бордовую головку.

— Ааааа... — замерший на мгновение Валентин застонал, столбоподобные ноги его мучительно согнулись в коленях.

Марина едва успела сжать одно из страусиных яиц громадной полиловевшей и подобравшейся мошонки, как в рот ей толкнулась теплая густая сперма.

Ритмично сжимая член, Марина впиалась губами в головку, жадно глотая прибывающую вкусную жидкость.

Мертвенно бледный Валентин вяло бился на простыне, беззвучно открывая рот, словно выброшенное на берег морское животное.

— Ааааа... смерть моя... Мариночка... одалисочка... сильнее... сильнее...

Она сдавила напружинившийся горячий жезл, чувствуя, как пульсирует он, выпуская сакральные порции.

— Ооооой... смертеподобно... гибель... прелесть ты... котенок...

Через мгновение он приподнялся на локтях, а Марина, слизнув с бордового лимона последние мутные капли, блаженно вытянулась на прохладной простыне.

— Сногшибательно... прелесть... — пробормотал Валентин, разглядывая свой лежащий на животе и достающий до пупка пенис.

— Доволен... — утвердительно спросила Марина, целуя его в абсолютно седой висок.

— Ты профессиональная гетера, я это уже говорил, — устало выдохнул он и, откинувшись, накрыл ее потяжелевшей рукой. — *Beati possidentes...*

Лицо его порозовело, губы снова стали надменно-чувственными.

Марина лежала, прижавшись к его мерно вздымающейся груди, глядя, как вянет на мраморном животе темно-красный цветок.

— Меч Роланда, — усмехнулся Валентин, заметив, куда она смотрит. — А ты — мои верные ножны.

Марина рассеянно гладила его руку:

— Не я одна. У него, наверно, были сотни ножен.

— Il est possible. On ne peut pas passer de cela...

— Все-таки какой он огромный...

— Je remercie Dieu...

— Ты не измерял его напряженным?

— Il y a longtemps. Au temps de ma jeunesse folle...

— Слушай, говори по-русски!

— Двадцать восемь сантиметров.

— Потрясающе...

Марина коснулась мизинцем влажного блестящего кончика, сняв с него липкую прозрачную каплю.

Где-то в глубине Валентина ожил на короткое время приглушенный гобой. Валентин громко выпустил газы.

— Pardon...

— Хам... — тихо засмеялась Марина, отводя упавшую на лицо прядь.

— L'homme est faible...

— Непонятно, для кого ты это говоришь?

— Для истории.

Марина со вздохом приподнялась, потянулась.

— Дай пожрать чего-нибудь...

— погоди минутку. ляг.

Он мягко шлепнул ее по спине.

Марина легла.

Валентин погладил ее волосы, поцеловал в смуглое плечо с рябеньким пятнышком прививки:

— Устала, ангел мой?

— От твоего дурацкого французского.

— Дурацкого — в смысле плохого?

— Дело в том, что я не знаю никакого — ни хорошего, ни плохого. Тебе это прекрасно известно. Что за снобизм такой...

Он глухо засмеялся, нависая над ней на локте:

— Так я же и есть старый, вовремя недобитый сноб!

Марина снова потрогала шрамик на его подбородке:

— Неисправимый человек.

— Безусловно.

Он гладил ее волосы.

Несколько минут они пролежали молча.

Потом Валентин сел, протянул руку, нашарил сигареты на низкорослой индийской тумбочке:

— Котенок, а у тебя действительно никогда с мужчиной оргазма не было?

— Никогда.

Он кивнул, ввинчивая сигарету в белый костяной мундштук.

— А про меня и забыл, — тихо проговорила Марина, что-то наигрывая пальцами на его плече.

— Pardon, милая. Холостяцкие привычки... прошу...

Топорщась, сигареты полезли из пачки.

Марина вытянула одну.

Щелкнула газовая зажигалка, выбросив не в меру длинный голубой язык.

Прикурили.

Марина встала, жадно затягиваясь, прошла

по ковру и снова посмотрела на картину. Размытая женщина все еще поправляла волосы.

Сидя, Валентин поднял халат, накинул и с трудом оторвался от кровати.

— Уютный уголок, — Марина зябко передернула плечами.

— Милый, правда? — пробормотал Валентин, сжимая зубами мундштук и завязывая шелковый пояс с кистями.

— Да...

Она наклонилась и стала собирать свое разбросанное белье.

Валентин мягко коснулся ее плеча и, обильно выпуская дым, выплыл из спальни:

— Пошли обедать.

Страхнув сероватый цилиндрик пепла в тронутую перламутром раковину, Марина натянула свитер, косясь на себя в продолговатое трюмо, стала натягивать трусики.

Слышно было, как в просторной кухне Валентин запел арию Далилы.

Марина достала из широкого воротника свитера свои волосы и босая побежала на кухню.

В прихожей она подфутболила свой слегка забрызганный грязью сапожок:

— Хей-хо!

Валентин, копающийся в недрах двухэтажного “Розенлефа”, оглянулся:

— Очаровашка... знаешь... — Он вынул на минуту мундштук и быстро заговорил, другой рукой прижимая к бархатной груди кучу вынутых продуктов: — Ты сейчас похожа на римлянку времен гибели империи. У нее семью вырезали, дом разрушен. Неделю жила с волосатым варваром. Он ей и подарил свою козью душегрейку. Так она и побежала в ней по раздробленным плитам Вечного города. Как, а?

— Вполне. Тебе пора в Тациты подаваться.

— Да ну. Не хочу в Тациты. Я б в Светонии пошел, пусть меня научат...

Мелкими шажками он добрался до широкого стола и резко наклонился. Продукты глухо посыпались на стол. Костяной мундштук вновь загремел о зубы:

— Светонии точнее их всех. Нигде не здает жизнь двога дучше сеггетага. Или повага. Садись.

Марина опустила на скрипучий венский стул, распаковала желтую пирамидку сыра и принялась резать его тяжелым серебряным ножом.

Докурив, Валентин бросил сигарету в раковину, мундштук со свистом продул и опустил в карман халата:

— Его б гофрировать надо, по-хорошему...

— Перебьешься. Порезюкай колбаску лучше.

— Ну, *chégie*, что за жаргон...

— Какие ножи хорошие.

— Еще бы. Моего расстрелянного дедушки.

— А что, его расстреляли?

— Да. В двадцать шестом.

— Бедняга.

Марина разложила листочки сыра на тарелке.

Валентин с треском снял кожу с колбасы и стал умело пластать ее тонкими кусочками.

— Тебе повар “Метрополя” позавидует, — усмехнулась Марина, открывая розеточку с икрой. — Все-таки холостяцкая жизнь многому учит.

— Бэзусловно, — продолговатые овалы ложились на дощечку.

— Послушай, а что ж твоя домработница тебе не готовит?

— Почему не готовит? Готовит.

— А сейчас?

— Не каждый день же ей тут торчать...

— Она когда приходит?

— Вечером.

— Ну, ты ее, конечно, уже, да?

— Было дело, котеночек, было...

— Ну?

— Неинтересно. Закомплексованный советский индивидуум.

— Фригидна, что ль?

— Да нет, не в этом дело. Она-то визжала от восторга. Билась, как белуга, подо мной. Я о другом говорю.

— Дикая?

— Абсолютно. Про минет впервые от меня услышала. Сорок восемь лет бабе.

— Ну а ты бы просветил.

— Зайка, я не умею быть наставником. Ни в чем.

— Я знаю...

Марина помогла ему уложить колбасу на тарелку.

Валентин зажег конфорку, с грохотом поставил на нее высокую кастрюлю:

— Борщ, правда, варит гениально. За это и держу.

— А ей действительно с тобой хорошо было?

— Со мной? Котик, только ты у нас патологическая мужефобка. Кстати, поэтому ты мне и нравишься.

— Да кто тебе, скажи на милость, не нравится?! С первой встречной готов.

— Правильно. Я, милая, как батенька Карамазов. Женщина достойна страсти уже за то, что она — женщина.

— На скольких тебя еще хватит...

— Будем стараться.

— Тоже мне...

— Слушай, chérie, в тебе сегодня чувствуются какие-то бациллы агрессивности. Это что — влияние твоей экзальтированной любовницы?

— Кого ты имеешь в виду?

— Ну, эту... которая и не играет, и не поет, и не водит смычком черноголосым.

— Мы с ней разошлись давно, — пробормотала Марина, жуя кусочек колбасы.

— Вот как. А кто же у тебя сейчас?

— А тебе-то что...

— Ну, котенок, успокойся.

— А я спокойна...

Валентин снова открыл холодильник, достал начатую бутылку шампанского, снял с полки бокалы:

— За неимением Аи.

— Сто лет шампанского не пила.

— Вот. Выпей и утихомирься.

Слабо пенясь, вино полилось в бокалы.

Марина взяла свой, посмотрела на струящиеся со дна пузырьки:

— У меня, Валечка, сейчас любовь. Огромная.

— Это замечательно, — серьезно проговорил Валентин, пригубивая вино.

— Да. Это прекрасно.

Марина выпила.

— А кто она?

— Девушка.

— Моложе тебя?

— На пять лет.

— Чудесно, — с изящным беззвучием он поставил пустой бокал, снял крышку с хрустальной розеточки, полной черной икры, и широким ножом подцепил треть содержимого.

— Да. Это удивительно, — прошептала Марина, водя ногтем по скатерти.

Валентин толстым слоем располагал икру на ломтике хлеба:

- Хороша собой?
- Прелесть.
- Характер?
- Импульсивный.
- Сангвиник?
- Да.
- Склонна к медитации?
- Да.
- Чувственна?
- Очень.
- Ранима?
- Как ребенок.
- Любит горячо?
- Как огонь.
- К нашему брату как относится?
- Ненавидит.
- Постой, но это же твоя копия!
- Так и есть. Я в ней впервые увидела себя со стороны.

Валентин кивнул, откусил половину бутерброда и наполнил бокалы.

Марина рассеянно слизывала икру с хлеба, вперясь взглядом в золотистые пузырьки.

— Завидую тебе, детка, — пробормотал он, жуя и приподнимая бокал. — Твое здоровье.

Шампанское уже отдалось в Марине теплом и ленью.

Она отпила, поднесла бокал к глазам и посмо-

трела сквозь переливающееся золотистыми оттенками вино на невозмутимо пьющего Валентина.

— Всю жизнь мечтал полюбить кого-то, — бормотал он, запивая уничтоженный бутерброд. — Безумно полюбить. Чтоб мучиться, рыдать от страсти, сидеть от ревности.

— И что же?

— Как видишь. Одного не могу понять: или мы в наших советских условиях это чувство реализовать не можем, или просто человек нужный мне не встретился.

— А может, ты просто расплылся по многим и все?

— Не уверен. Вот здесь, — он мягко дотронулся до груди кончиками пальцев, — что-то есть нетронутое. Этого никто никогда не коснулся. Табуированная зона для пошлости и распутства. И заряд мощнейший. Но не дискретный. Сразу расходует, как шаровая молния.

— Дай Бог тебе встретить эту женщину.

— Дай Случай.

— Дай Бог.

— Для тебя — Бог, для меня — Случай.

— Твое дело. Борщ кипит всюю...

— Аааа... да, да...

Он заворочался, силясь приподняться, но потом передумал:

— Котеночек, разлей ты. У тебя лучше получается.

Марина прошлепала к плите, достала из сушки

две глубокие тарелки и стала разливать в них дымящийся борщ.

— И понимаешь, в чем, собственно, весь криминал, — я не могу полюбить, как ни стараюсь. А искренне хочу.

— Значит, не хочешь.

— Хочу, непременно хочу! Ты скажешь, любовь — это жертва прежде всего, а этот старый сноб на жертву неспособен. Способен! Я все готов отдать, все растратить и сжечь, лишь бы полюбить кого-то по-настоящему! Вот почему так завидую тебе. Искренне завидую!

Марина поставила перед ним полную тарелку.

Валентин снял крышку с белой банки, зачерпнул ложкой сметану:

— Но ты-то у нас в воскресенье родилась.

— Да. В воскресенье, — Марина осторожно несла свою тарелку.

— Вот-вот...

Его ложка принялась равномерно перемешивать сметану с борщом.

Марина села, перекрестилась, отломилла хлеба и с жадностью набросилась на борщ.

— Сметаны положи, котенок, — тихо проговорил Валентин и надолго склонился над тарелкой.

Борщ съели молча.

Валентин лениво отодвинул пустую тарелку.

Его квадратное лицо сильно порозовело, словно под холеную кожу вошла часть борща:

— А больше и нет ничего... мда...

— По-моему, достаточно, — ответила Марина, вешая на край тарелки стебелек укропа.

— Ну и чудно, — кивнул он, доставая из халата мундштук.

— За этот борщ твоей бабе можно простить незнание минета...

— Безусловно...

Вскоре они переместились в просторную гостиную.

Марина забралась с ногами в огромное кожаное кресло, Валентин тяжело опустился на диван.

— Теперь ты вылитая одалиска, — пробормотал он, выпуская сквозь губы короткую струйку дыма. — Матисс рисовал такую. Правда, она была в полосатых шальварах. А верх обнажен. А у тебя наоборот.

Марина кивнула, затягиваясь сигаретой.

Он пристально посмотрел на нее, проводя языком по деснам, отчего уста вспучивались мелькающим холмиком:

— Странно все-таки...

— Что — странно?

— Лесбийская страсть. Поразительно... что-то в этом от безумия бедного Нарцисса. Ведь в принципе ты не чужое тело любишь, а свое в чужом...

— Неправда.

— Почему?

— Ты все равно не поймешь. Женщина никогда

не устанет от женщины, как мужчина. Мы утром просыпаемся еще более чувственными, чем вечером. А ваш брат смотрит, как на ненужную подстилку, хотя вечером стонал от страсти...

Валентин помолчал, нервно покусывая мундштук, потом, лениво потянувшись, громко хрустнул пальцами:

— Что ж. Возможно...

Пепел упал в одну из складок его халата.

Марина посмотрела на толстого мальчика в треснутой рамке. Застенчиво улыбаясь, он ответил ей невинным взглядом. Огромный бант под пухлым подбородком расползся красивой кляксой.

В ямочках на щеках стусился серый довоенный воздух.

— Валя, сыграй чего-нибудь, — тихо проговорила Марина.

— Что? — вопросительно и устало взглянул он.

— Ну... над чем ты работаешь?

— Над Кейджем. "Препарированный рояль".

— Не валяй дурака.

— Лучше ты сыграй.

— Я профнепригодна.

— Ну, сыграй без октав. Чтоб твой раздробленный пятый не мучился.

— Да что мне-то... смысла нет...

— Сыграй, сыграй. Мне послушать хочется.

— Ну, если только по нотам...

— Найди там.

Марина слезла с кресла, подошла к громадному, во всю стену шкафу. Низ его был забит нотами.

— А где Шопен у тебя?

— Там где-то слева... А что нужно?

— Ноктюрны.

— Вот, вот. Поиграй ноктюрны. По ним сразу видно все.

Марина с трудом вытянула потрепанную желтую тетрадь, подошла к роялю. Валентин стремительно встал, открыл крышку и укрепил ее подпоркой. Опустившись на потертый плюш стула, Марина подняла пюпитр, раскрыла ноты, полистала:

— Так...

Прикоснувшись босой ступней к холодной педали, она вздохнула, освобождая плечи от скованности, и опустила руку на клавиатуру. Черный, пахнущий полиролью “Блютнер” откликнулся мягко и внимательно. Повинуясь привычной податливости пожелтевших клавиш, Марина сыграла два такта вступления немного порывисто и громко, заставив Валентина пространно вздохнуть.

Возникла яркая тоскливая мелодия правой, и бабы послушно отодвинулись, зазвучали бархатней.

Она вчера играла этот ноктюрн на чудовищном пианино заводского ДК, жалком низкорослом обрубке с латунной бляшкой “Лира”, неимоверно тугой педалью и отчаянно дребезжащими клавиша-

ми. Этот сумасшедший бутылочный Шопен еще звучал у нее в голове, переплетаясь с новым — чистым, строгим и живым.

Валентин слушал, покусывая мундштук, глаза его внимательно смотрели сквозь рояль.

Повторяющееся арпеджио басов стало подниматься и вскоре слилось с болезненно порхающей темой, начались октавы, и негнувшийся пятый палец уступил место четвертому.

Валентин молча кивал головой.

Crescendo перешло в порывистое forte, Маринины ногти чуть слышно царапали клавиши.

Валентин встал и изящно перелистнул страницу, потрепанную, словно крылышко у измученной ребенком лимонницы.

Ноктюрн начал угасать, Марина чуть тронула левую педаль, сбилась, застонала, морщась, и нервно закончила.

Мягко положив ей руку на плечо, Валентин вынул мундштук изо рта:

— Вполне, вполне, милая.

Она засмеялась, тряхнув волосами, и грустно вздохнула, опустив голову.

— Нет, серьезно, — он повернулся, бросил незатушенный окурочок в пепельницу, — шопеновский нерв ты чувствуешь остро. Чувствуешь.

— Спасибо.

— Только не надо проваливаться из чувств в чувстви-

тельность, всегда точно знай край. Теперь большинство его не ведаёт. Либо академизм, сухое печатанье на машинке, либо сопли и размазня. Шопен, милая Марина, прежде всего — салонный человек. Играть его надо изысканно. Горовиц говорил, что, играя Шопена, он всегда чувствует свои руки в манжетах того времени. А знаешь, какие тогда были манжеты?

— Брабантские?

— К чёрту брабантские. Оставим их для безумных гумилевских капитанов. В первой половине девятнадцатого носили простые, красивые и изысканные манжеты. Так и играй — просто, красиво, изысканно. И ясно. Непременно — ясно. И, голубушка, срежь ты коготки свои, страшно такими щапками к роялю прикасаться. А главное — постановка руки меняется, тебе ясный звук труднее извлекать.

— Саша говорит, что мне идут... Пролам и с такими ногтями играть можно...

— Пролам можно, а мне нельзя.

Он осторожно сжал ее плечо:

— Пусти, я сыграю тебе.

— Этот же? Сыграй другой.

— Все равно...

— Я найду тебе щас... — потянулась она к нотам, но Валентин мотнул головой:

— Не надо. Я их помню.

— Все девятнадцать?

— Все девятнадцать. Сядь, не стой над душой.

Марина села на диван, закинув ногу на ногу.

Поправив подвернувшийся халат, Валентин опустился на стул, потирая руки, глянул в окно.

Из хрустального зева пепельницы тянулся вверх голубоватый серпантин.

Белые руки зависли над клавишами и плавно опустились.

Марина вздрогнула.

Это был ЕЕ ноктюрн, тринадцатый, до-минорный, огненным стержнем пронизавший всю ее жизнь.

Мать играла его на разбитом “Ренеше”, и пятилетняя Марина плакала от незнакомого щемящего чувства, так просто и страшно врывающегося в нее. Позднее, сидя на круглом стульчике, она разбирала эту жгучую пружину детскими топорщающимися пальчиками. Тогда эти звуки, неровно и мучительно вспыхивающие под пальцами, повернули ее к музыке — всю целиком.

Ноктюрн был и остался зеркалом и камертоном души. В школе она играла его на выпускном, выжав слезы из оплывших неврастенических глаз Ивана Серафимыча и заставив на мгновение замереть переполненный родителями и учениками зал.

Пройденное за три года училище изменило ноктюрн до неузнаваемости. Марина смеялась, слушая свою школьную потрескивающую запись на магнитофоне Ивана Серафимыча, потом смело садилась за его кабинетный рояльчик и играла. Старичок

снова плакал, захлебываясь лающим кашлем, сибирский полупудовый кот, лежащий на его вельветовых коленях, испуганно щурился на хозяина...

Это был ее ноктюрн, ее жизнь, ее любовь.

Мурашки пробежали у нее по обтянутой свитером спине, когда две огромные руки начали лепить перекликающимися аккордами то самое — родное и мучительно сладкое.

Он играл божественно.

Аккорды ложились непреложно и страстно, рояль повиновался ему полностью, — из распахнутого черного зева плыла мелодия муки и любви, ненадолго сменяющаяся неторопливым кружевом арпеджио.

Большие карие глаза Марины сузились, подернулись терпкой влагой, белые руки расплылись пятнами.

Пробивающаяся сквозь аккорды мелодия замерла, и, о Боже, вот оно сладкое родное ре, снимающее старую боль и тянущее в ледяной омут новой. Валентин сыграл его так, что очередная зыбкая волна мурашек заставила Марину конвульсивно дернуться. Слезы покатались по щекам, закапали на голые колени.

Марина сжала рукой подбородок: рояль, Валентин, книжный шкаф — все плыло в слезах, колеблясь и смешиваясь.

И ноктюрн мерно плыл дальше, минор сменился спокойной ясностью мажорных аккордов, холодным прибором смывающих прошлые муки.